

Влас Дорошевич

Каторга. Преступники

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Д69

Д69 **Дорошевич В.**
Каторга. Преступники / Влас Дорошевич – М.: Книга по Требованию, 2012. – 376 с.

ISBN 978-5-4241-2378-8

В 1903 году русский журналист и писатель Влас Дорошевич (1864–1922) написал книгу о Сахалине – самом отдаленном острове Российской империи, освоенном беглыми людьми, каторжниками и поселенцами. Книга имела большой успех, не раз переиздавалась, в том числе и за рубежом. В. Дорошевич сумел воссоздать вполне реалистическую картину трагедий и ужасов Сахалина: его тюрем, палачей, преступников всех мастей – убийц, людоедов, воров, авантюристов.

ISBN 978-5-4241-2378-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Влас Михайлович Дорошевич
Каторга. Преступники

Часть первая

Каторга

Татарский пролив. – Климат. – Природа. – Северный, Средний и Южный Сахалин. – Сахалинская дорога. – Остров-тюрьма

Это было 16 апреля.

Дул порывистый, холодный, пронизывающий норд-вест, пароход кидало с бока на бок.

Я стоял на верхней палубе и всматривался в открывающиеся суровые, негостеприимные, скалистые, покрытые еще снегом берега.

Первое впечатление было безотрадное, тяжелое, гнетущее.

Словно какое-то чудовище, с покрытой буграми спиной, вытянулось, замерло и выжидает добычи.

– Вон место, где погибла «Кострома», – указывает мне капитан.

Я спускаюсь на нижнюю палубу.

Около иллюминаторов на палубе сменяются лица арестантов.

Смотрят, вглядываются в берега острова, где придется кончать свой век.

Замечания краткие, мрачные:

– Сакалин!

– Зима еще!

– Дай поглядеть!

– Не на что и глядеть. Все под снегом. Качка усиливается. Мы идем Лаперузовым проливом. Налево – Крильонский маяк. Направо – кипят и пенятся валуны, покрывая «Камень Опасности». Впереди надвигается полоса льда. Лдины застилают весь горизонт.

Право, это звучит горькой насмешкой.

Провезти людей чуть не кругом света. Показать им мельком уголок земного рая – пышный, цветущий Цейлон, дать взглянуть одним глазом на Сингапур, этот роскошный, этот дивный, этот сказочный сад, что разросся в полутора градусах от экватора, дать полюбоваться на чудные, живописные берега Японии, при входе в Нагасаки, – на берега, от которых глаз не оторвешь, для того чтобы привезти после всего этого к скалистым, суровым берегам, покрытым снегами в половине апреля, в эту страну пурги, штормов, туманов, льдин, выюг и сказать:

– Живите!

Сахалин...

– «Кругом – вода, а в середине – беда!», «Кругом – море, а в середине – горе!» – как зовут его каторжные.

Остров отчаяния. Остров бесправия. Мертвый остров! – как называют его служащие на Сахалине.

Остров – тюрьма.

Если вы взглянете на карту Азии, то увидите в правом уголке вытянувшееся вдоль берега, действительно что-то похожее на чудовище, раскрывшее пасть и словно готовое проглотить лежащий напротив Мацмай.

И крутые паденья угольных пластов, и зигзагообразные, ломаные линии об-

наженных слоев угольного сланца – все говорит, что здесь происходила когда-то великая революция.

Извивалась спина «чудовища». Гигантскими волнами колебалась земля. Волны шли с северо-востока на юго-запад.

Недаром сахалинские горы похожи действительно на огромные застывшие волны, а долины, или пади, как их здесь называют по-сибирски, напоминают собою пропасти, что разверзаются между волнами во время урагана.

Ураган кончен. Чудовище стихло и лишь по временам слегка вздрагивает – то там, то здесь.

Это – остров-нелюдим.

Он отделен от земли Татарским проливом, самым вспылчивым, самым буйным, своенравным, злобным проливом в мире.

Проливом, где зимой зги не видно в снежной пурге, а летом штормы сменяются густыми туманами, настолько густыми, что среди этой белой пелены еле мерещится верхушка мачты собственного парохода.

Идя этим проливом, штурманскому офицеру приходится спать урывками, по четверти часа, не раздеваясь.

Здесь штиль сменяется свирепым штормом в пять, десять минут.

Полный штиль, – вдруг засвистело в снастях, – поднимай, а то и руби якоря и уходи в море, если не хочешь быть вдребезги разбитым о камни.

Здесь море – предатель, а берег – не друг, а враг моряка. Здесь надо бояться и моря, и земли.

Сахалин не любит, чтобы останавливались у его крутых, обрывистых, скалистых берегов. На всем западном побережье ни одного рейда. Дно – гладкая и ровная плита, на которой вас не удержит в шторм ни один якорь.

И сколько пароходов пошло ко дну, похоронено в этом проливе!

Сахалин – суровый и холодный остров.

Его скалистый берег лижет холодное северное течение, в незапамятные времена прорвавшееся Татарским проливом.

Здесь суровая, лютая зима. Здесь неделями продолжается пурга, крутит огромные снежные смерчи, по крышу засыпает дома.

Здесь безрадостная весна похожа на осень.

Короткое, холодное, туманное лето.

И только осень еще похожа на что-нибудь.

20 мая я приехал в Онор – дальнейшее поселье в самом центре острова, – а 21-го, проснувшись утром, увидел ясное, свежее, прекрасное зимнее утро.

За ночь выпал снег. Снежная пелена в пол-аршина покрывала все – крыши и землю, тюрьму и поселье. Снег продержался два дня и сошел только 23 мая. Вот то, что называется на Сахалине «климатом».

Извилистая спина «чудовища», словно дыбом вставшими иглами, покрыта густой хвойной тайгой.

Высокий, обрывистый, отвесный, неприступный берег, по которому зигзагами идут желтые пласты глины, дымчатые – угольного сланца, белые – песчаника. Кое-где проступает ржавчина железной руды.

А наверху – тайга.

Ели и сосны, оголенные, совсем лишённые ветвей с наветренной стороны. Они растут в одну сторону. Вершины сосен вытянулись по ветру, словно дым от

пароходной трубы. Словно эти великаны-деревья, вытянув руки, бегут от этого ужасного берега, от этого сурового, холодного, жестокого моря и ветра.

Заберемтесь вглубь.

Мертвая тишина. Только валежник хрустит под ногами. Остановишься – и ни звука. Ни птичьей песни, ни писка...

Жутко становится, как в пустой церкви.

Молчанье сахалинской тайги – это тишина заброшенного, оставленного храма, под сводами которого никогда не раздается шепота молитвы.

Глубже в эту страну вечного молчания.

Вот уж и света не видно. Тьма кругом.

Словно огромный баобаб стоит на своих десятках стволов.

Это ветер сбил вершины сосен в одну огромную шапку, скотил их ветви и иглы. Образовалась плотная крыша, по которой, кажется, можно ходить!

Здесь давит. Здесь тяжело.

Здесь тяжело даже деревьям. Здесь больны даже эти гиганты. Их стволы искривлены огромными болезненными наплывами.

Вот вам картина природы Северного Сахалина.

30 лет тому назад здесь бродили медведи да гиляки – жалкие, несчастные дикари, вряд ли в умственном и нравственном отношении стоящие многим выше своих товарищей по тайге.

Недаром же гиляки верят, что у медведя такая же точно душа, как у гиляка, что душа медведя точно так же идет после смерти к «хозяину», богу тайги, жалуются ему на гиляков, и хозяин судит их как равных. Что медведь даже «женат на гилячке»! До того эти жалкие дикари ставят знаки духовного равенства между собой и медведями.

Теперь в этой стране медведей и гиляков кое-где разбросаны поселья.

Жалкие, типичные сахалинские поселья.

Дома для «правов», построенные только для того, чтобы иметь право получить крестьянство, брошенные, разоренные, полуразрушившиеся.

И здесь ни звука. То же вечное молчание.

– Да есть ли живой человек?

В двух-трех домах еще живут. Остальные – пустые.

– Ну, что? Как живете?

– Какая уж жизнь? Маемся.

– Садите, сеете что?

– Что здесь растет! Одна картошка, да и то с грехом пополам. Живут молча, угрюмо, каждый уйдя, замкнувшись в себя, тоскливо выжидая, когда кончится срок поселения, можно будет получить крестьянство и уйти «на материк».

Дальше, дальше от этой безотрадной стороны.

Тараторят, заливаются, стонут звонки под дугой.

Тройка низкорослых, приземистых, коренастых, крепких, выносливых, быстрых сахалинских лошадей с горки на горку, из пади в падь, несет нас вдоль острова к югу.

– Вот здесь застрелили Казеева (один из убийц Арцимовичей), – показывает вам ямщик. – Здесь в пургу занесло снегом женщину с ребенком... Сюда я на медни возил доктора – поселенца с дерева снимали... Повесился... Здесь в прошлом году зарезали поселенца Лаврова...

Обычная сахалинская дорога.

Картина природы меняется.

Безотрадная северная сахалинская сосна и ель уступают место веселой, приветливой лиственнице, начинающей уже покрываться своей мягкой, нежною, пахучею хвоей. Кое-где попадется невысокий кедр.

Забелели местами березовые рощицы. Березы еще не собираются распускаться, но их беленькие стволы так весело, нарядно, чистенько выглядят после суровой темно-зеленой одежды хвойного леса.

Ива, гибкая и плакучая, наклонилась над речкой, словно хочет рассмотреть что-то в ее быстрых струях.

По оврагам еще лежит снег, а по холмам, где пригревает солнышко, уж пышно распустился лопух.

И горы пошли более пологие, и пади шире.

Это уже не ущелья, не огромные трещины среди гор, а равнины, от которых веет простором.

И поселения встречаются все крупнее и крупнее. Величиной в хорошее торговое село.

И чаще на вопрос: «Ну, как живете?» – слышится ответ:

– Живем кое-как. Лето только больно коротенько.

По пути попадают волы, запряженные в плуг.

В каждом селенье найдете двоих, троих, а то и больше зажиточных хозяев.

Это Тымовский округ, картина Среднего Сахалина.

Дальше начинается тундра – «трунда», как ее зовут сахалинцы.

Колеса вязнут, еле ворочаются в торфяной массе.

Ямщик слез и идет рядом, чтобы легче было лошадям.

Двигаемся еле-еле. От лошадей валит пар.

Пахнет вереском. От его удушливого, тяжелого запаха, похожего на запах кипариса, начинает болеть голова.

Вся тундра сплошь покрыта его красными кустиками. Словно кровь запеклась.

Тундра и тайга. И снова ни звука. Только дятел простучит да кукушка прокукует вдали.

Тоска, ноющая, щемящая, забирается в душу. Чем-то безотрадным веет кругом.

И не верится даже, что где-то на свете есть Италия, голубое небо, горячее солнце, что есть на свете и песня, и смех... И все, что приходилось видеть раньше, – все это кажется таким далеким, словно происходило где-то на другой планете, – кажется сном, невероятным, несбыточным.

Океан тундры и тайги. И в этом океане, как крошечные островки, – кусочки твердой земли. На этих островках прилепились было поселения. Люди попробовали жить, побороться, – не смогли и ушли.

Унылые, брошенные поселения. Так до Онора.

А дальше уж совсем идет топь, трясина, по которой еще проезжают на собаках зимой и нет возможности пробраться летом...

За этой полосой начинается Корсаковский округ – Южный Сахалин.

Разнообразие лиственных древесных пород. Климат сравнительно мягче.

Здесь все же легче дышится, живется.

Если вы взглянете на подобную карту, весь юг Сахалина испещрен черными точками – все поселения. Здесь все-таки можно стать ногой на твердую почву.

Здесь труд тяжелый немножко окупается.

Здесь уж ранняя весна.

Тянутся вереницами на север красавицы-лебеди.

Белая полоса тянется по морю версты на две от берега, словно молочная река, – идет, трется в водорослях и мечет икру сельдь.

Птицы свистят и перекликаются в тайге.

Здесь все-таки жизнь, все-таки солнце, все-таки свет.

Вот вам картины Сахалина.

Здесь воздух напоен тяжелыми вздохами. Здесь в ночном крике птицы чудится стон. Здесь много пролито крови этими несчастными, которые режут друг друга из-за грошей.

Здесь что ни уголок – то страшное воспоминание.

Здесь все дышит страданием. Здесь много было преступленья и труда.

Здесь все нужно взять с боя. Сахалинская почва ничего не родит, если на нее не капнут пот и слезы.

В глубине Сахалина таится много богатств. Могучие пласты каменного угля. Есть нефть. Должно быть железо. Говорят, есть и золото.

Но Сахалин ревниво бережет свои богатства, крепко зажал их и держит.

Он прекратит ваш путь непроходимой тайгой, он утопит вас в трясине своих тундр. Железом и огнем приходится здесь пробивать себе путь человеку, потом, кровью и слезами сдобривать почву, половину жизни отдавать на то, чтоб другую половину прожить хоть чуть-чуть сносно.

Вот что такое этот остров-тюрьма.

Природа создала его в минуту злобы, когда ей захотелось создать именно тюрьму, а не что-нибудь другое.

Трудно представить себе лучшие тюремные стены, чем Татарский и Лаперузов проливы.

Правда, бегают и через тот, и через другой. Но разве есть на свете такая тюремная стена, через которую не перешагнул бы человек, ставящий волю выше жизни!

Однако природа была слишком жестока, создавая этот остров-тюрьму.

Идти в ясную погоду по берегу постылого острова и ясно видеть через пролив противоположный берег, который дразнит и манит, уходя вдаль своими голубоватыми очертаниями!

Сознавать, что это так близко и так недостижимо. Какую муку создала сама природа!

Первые впечатления

Первое впечатление всегда самое сильное.

И, конечно, я никогда не забуду минуты, когда я ранним утром на зыбком, с бока на бок переваливающемся паровом катере подъезжал к пристани Корсаковского поста.

На берегу копошились люди.

Еще несколько шагов – и я погружаюсь в это море, которое мне так страстно, так мучительно хочется знать.

Море чего?

Странное дело, от двух впечатлений я никак не мог отделаться в течение трех с половиной месяцев, которые я провел среди тюремной обстановки. Два впечатления давили, гнули, свинцом лежали на душе. Давят и гнетут еще и теперь.

Одно из них касается собственно самого пути до Сахалина.

Я никак не мог отделаться от этого сравнения. Наш пароход, везший каторжников из Одессы, казался мне огромной баржей, какие обыкновенно употребляются в приморских городах для вывозки в море отбросов. А эти серевшие на берегу сахалинские посты и поселья казались мне просто-напросто колоссальными местами свалок.

И тяжело становилось на душе при мысли о том, что там, внизу, в трюме, под вашими ногами, что рядом с вами окончательно перегнивает все человеческое, что еще осталось среди этих «отбросов».

Второе впечатление касается собственно Сахалина.

С первых же шагов, при виде этого унылого, подневольного труда, этого снимания шапок, мне показалось, что я перенесся лет на 50 назад.

Что кругом меня просто-напросто крепостное право.

И чем больше я знакомился с Сахалином, тем это впечатление все глубже и глубже ложилось в мою душу, это первое сравнение казалось мне все вернее и вернее.

Тот же подневольный труд, те же люди, не имеющие никаких прав, унижительные наказания, те же дореформенные порядки, бесконечное «бумажное» производство всяких дел, тот же взгляд на человека как на живой инвентарь, то же распоряжение человеком «по усмотрению», сожительства, заключаемые, как браки при крепостном праве, не по желанию, не по влечению, а по приказу, взгляд многих на каторжного как на крепостного, – все, кончая «декоративной стороной» крепостного права, обязательным ломаньем шапки, – все создавало полную иллюзию «отжитого времени». И как тяжело дышалось, как тяжело, если бы вы знали!

Желание исполнено.

Пройдя пристань, я очутился в толпе каторжных.

На берегу шли работы.

Человек семьдесят каторжников, кто в арестантской, кто в своей одежде, спускали в море баржу для разгрузки парохода.

Пели «Дубинушку», и под ее напев баржа еле-еле, словно нехотя, ползла с берега.

Рядом с ней, на другой барже, стоял запевала, мужичонка в рваной арестантской куртке, всклокоченный, встрепанный, жалкий, несчастный, и надтреснутым, дребезжащим тенорком запевал «Дубинушку», говорившую о необычайной изворотливости, сверхъестественной находчивости его цинизма.

Какой-то цинизм, доходивший не до грани, а до виртуозности.

Все это было, конечно, не то, чтобы вызвать смех. И никто не улыбался.

Слушали равнодушно, даже скорее вовсе не слушали, пели припев, кричали «ух» лениво, нехотя, словно и это тоже была подневольная работа.

Потом я по привычке, но первое впечатление подневольного труда – впечатление тяжелое, гнетущее.

Рядом вытаскивали невод.

Тащили тяжело, медленно, нехотя.

В вытащенном неводе билась, прыгала, трепетала масса рыбы.

Чего, чего там не было! Колоссальные бычки, которых здесь не едят, продолговатые с белым, словно белилами покрытым брюшком глосы, которых тоже здесь не едят, извивающиеся, как змеи, миноги, которых здесь точно так же не едят, и мелкая дрянная рыбешка, которую здесь едят.

Все стояли вокруг невода, а двое или трое отбирали годную рыбу от негодной с таким видом, словно они ворочали камни.

Всю дорогу от пристани до поста, вдоль берега моря, навстречу попадались поселенцы, машинально, как-то механически снимавшие шапки.

Рука уставала отвечать на поклоны, и я был искренне признателен тем «дерзунам», которые не удостаивали мою персону этой каторжной чести.

Поселенцы бродили как сонные мухи. Бродили, видимо, безо всякой цели, безо всякого дела.

– Так, мол, пароход пришел. Все-таки люди.

Если там, у рабочих, на лицах читалась какая-то тяжесть, то здесь была написана страшная, гнетущая, безысходная скука.

Тоска.

Такое состояние, когда человек решительно не знает, что ему с собой делать, куда девать свою особу, чем ее занять, и провожает глазами все, что мелькнет мимо: муха ли большая пролетит, человек ли пройдет, собака ли пробежит.

Посмотрит вслед, пока можно уследить глазами, и опять на лице тоска.

Песня?..

Дрожки, на которых я еду, поворачивают на главную улицу поста и огибают наскоро сколоченный дощатый балаган (дело происходило на Пасхе).

Рядом пустыня, какие-то ободранные качели.

У входа, вероятно, судя по унылому виду, – антрепренер.

Около – толпа скучающих поселенцев, без улыбки слушающих площадные остроты ломающегося на балконе намазанного, одетого в ситцевый балахон клоуна из ссыльнокаторжных.

Из балагана слышится песня.

Нестройно, дико орет хор песенников.

Зазвенели кандалы. Мимо балагана проходят арестанты кандалной тюрьмы под конвоем...

Мы въезжали на главную улицу поста.

С первого взгляда Корсаковск всегда и на всех производит подкупающее впечатление.

Ничего как будто похожего на каторгу.

Чистенький, маленький городок.

Чистенькие, приветливые чиновничьи домики словно разбежались и со всего разбега двумя рядами стали по высокому пригорку.

Выше всех взбежала тюрьма.

Но тюрьма в Корсаковске не давит.

Она одноэтажная, невысокая и, несмотря на свое «возвышенное» положение, не кидается в глаза, не доминирует, не командует над местностью.

В глубину двух оврагов, по обоим бокам холма, словно свалились лезшие по косогору, да недолезшие туда домики.

Это слободки поселенцев.

В общем, во всем этом нет ничего ни страшного, ни мрачного.

И вы готовы прийти в восторг от «благоустройства», проезжая главной улицей Корсаковска, готовы улыбнуться, сказать:

– Да все это очень, очень, как нельзя более мило...

Но подождите!

Сахалин – это болото, сверху покрытое изумрудной, сверкающей травой.

Кажется, чудный лужок, а ступили – и провалились в глубокую, засасывающую, липкую, холодную трясику.

Не успело с ваших уст сорваться «мило», как из-за угла зазвенели кандалы.

Впрягшись в телегу, ухватившись за оглобли, каторжные везут навоз.

И что за удручающее впечатление производят эти люди, исполняющие лошадиную работу.

Ваш путь идет мимо тюрьмы – из-за решеток глядят темные, грязные окна.

Впереди – лазарет, и как раз против его окон – покойницкая.

Лазарет

Затем, в Александровске, в Рыковском я видел вполне благоустроенные больницы для каторжан; но что за ужасный уголок, что за «злая яма» дантовского ада – эта больница в Корсаковском посту.

Я знаю все сахалинские тюрьмы. Но самая мрачная из них – Корсаковский лазарет.

Чесоточный, больной заразительной болезнью, которую неприятно называть, и хирургический больной лежат рядом.

Около них бродит душевнобольной киргиз Наур-Сали.

Как и у большинства сахалинских душевнобольных, помешательство выражается у него в мании величия.

Это протест духа. Это благодеяние болезни.

Всего лишённые, бесправные, нищие, они воображают себя правителями природы, несметными богачами – в крайнем случае хоть смотрителями или надзирателями.

Киргиз Наур-Сали принадлежит к несметным богачам.

У него неисчислимые стада овец и верблюдов. Он получает несметные доходы... Но он окружен врагами.

Тяжелая, угнетающая сахалинская обстановка часто развивает манию преследования.

Временами Наур-Сали кажется, что на его стада нападают стаи волков, что в степном ковыле подползают хищники. Что стада разбегаются. Что он близок к разорению. Тогда ужас отражается на перекошенном и беспрестанно дергающемся лице Наур-Сали (он эпилептик и страдает Виттовым плясом), он мечется из стороны в сторону, с криком бежит по палатам, залезает под кровати больных, сдергивает с них одеяла – ищет своих овец. И я прошу вас представить положение больного с переломленной, положенной в лубки ногой, когда сумасшедший Наур-Сали с воем сдергивает с него одеяло.

– Почему же их не разместят?

– Да куда же я их дену?! – с отчаянием восклицает молодой симпатичный лазаретный врач господин Кириллов.